



Е. В. ТАРЛЕ

Крымская война

<Фрагмент>

ЕВПАТОРИЯ

Смерть императора Николая I

<...> Чем хуже и тревожнее были доставляемые А. М. Горчаковым сведения из Вены, тем яснее становилось в Зимнем дворце, что в более или менее близком будущем вся огромная западная граница империи может оказаться под ударом войск Австрии, Пруссии и Германского союза (или «Германии», как он тогда назывался). Перед нами лежат четыре «собственноручные записки его императорского величества»: одна, помеченная 26 декабря, другая — 30 декабря 1854 года, третья — 10 января и четвертая — 1 февраля 1855 года.

Это последние в жизни Николая составленные им предначертания и сформулированные соображения о дальнейшем развертывании военных действий. Основная черта всех этих записок — ожидание близкого выступления всех германских держав, возглавляемых Австрией и Пруссией, против России.

Николай вполне определенно считается и с возможным выступлением уже не только Австрии, но и Пруссии и всего Германского союза, с опасностью, «ежели неприятелями нашими будут не одни австрийцы, но и Германия и Пруссия. Покуда заявленными нашими врагами еще одни австрийцы, прочие еще сомнительны». Ближайшей опасностью царь считает вторжение австрийцев и поэтому хочет усилить Южную армию. «Когда же Германия

и Пруссия не устыдятся присоединиться к числу наших врагов, тогда положение наше будет еще тягостнее». Нужно усилить Южную армию, но ослаблять центр нельзя. И царь находит необходимым образовать «государственное подвижное ополчение в помощь действующим войскам, в силе равняющееся 1/4 всей армии».

Следует отдать справедливость Николаю: он вовсе не боится этих новых возможных врагов, хотя и понимает, что опасность серьезна. Он считает, что, организовав своевременно отпор, можно отразить любое нашествие. Всю оборону он разделяет на три «отдела»: северный, средний и южный. В северный входят: Финляндия, Петербург и прибрежье Балтики до границы Пруссии; в средний — Висла и крепости в Царстве Польском, включая Брест (этот «отдел» прикрывает два пути внутри империи — на Бобруйск и на Киев); наконец, в южный отдел входят: Подolia, Волынь, Бессарабия, побережье Черного моря. Каковы же грядущие или уже наступившие опасности, грозящие этим «отделам»? Сверху угрожают англо-французские десанты и шведские войска, в случае если бы Швеция присоединилась к союзникам. Но «особой важности» — средний отдел, потому что прикрывает центральную часть России с Москвой. Правда, пока еще только нужно считаться с близким выступлением Австрии; поэтому следует так расположить войска, чтобы иметь возможность давить на левый фланг Австрии, в случае если австрийцам удалось бы проникнуть на Волынь и Подолию. Пока не выступят Пруссия и «Германия», до тех пор этот средний фронт (по существу важнейший из всех) не так непосредственно опасен, как южный.

Южный фронт защищается двумя армиями: 1) Южной, которая «обязана с сухого пути остановить вторжение турок и австрийцев с союзниками в Бессарабию», а также должна защищать Одессу, Николаев и часть побережья Черного моря в своем тылу; 2) Крымской, которая обороняет Севастополь и Крым. Этот южный фронт находится в ближайшей, непосредственной опасности. Поэтому царь полагал, что прежде всего нужно усилить Южную и Крымскую армии за счет тех, которые охраняют «средний» фронт, и в Царстве Польском оставить не более одного корпуса. В случае вторжения со стороны австрийцев — отступать, «ежели необходимо, до Бреста» и очистить также Бессарабию и, «упираясь левым флангом к Днестру, отводить свой правый фланг к Бугу». «Настало время, — пишет царь в записке от 26 дека-

бря, — к усиленным мерам обороны, чтобы оградить государство от гибельных последствий борьбы с неравными силами противу возрастающей дерзости и коварных замыслов врагов наших». Поэтому необходимо образование государственного ополчения в помощь действующим войскам, причем это ополчение должно по численности равняться 1/4 части армии.

Эта записка была послана царем Паскевичу. Но фельдмаршал не согласился с царем в самом главном, хотя выразил это столь политично и осторожно, что Николаю показалось, будто Паскевич «в главном» согласен: «Переговоря с князем Варшавским, я убедился, что в главных основаниях мысли наши сходятся. Разница ощущительная только в том, что князь Иван Федорович обращает больше важности (*sic!* — Е. Т.) на сохранение Польши, собственно в политическом отношении влиянием на Европу и в особенности на Пруссию». Но царь стоит на своем: «Не отвергая сего, я остаюсь при мнении, что, сравнивая одно с другим, сохранение Крыма и прибрежья Черного моря едва ли не гораздо важнее не только влиянием на Европу, но и на Азию, и в особенности на наши западные области. Однако отнюдь не полагаю, чтоб для сохранения нашего обладания на юге следовало бросить Польшу без боя». Николай очень надеется на партизан в Волыни и Подолии и находит, что «их содействие в эту минуту будет величайшей важности в собственном нашем kraе, в тылу и на флангах неприятеля». В этой (второй) записке от 30 декабря Николай снова говорит об опасном положении и снова выражает надежду отстоять границы: «Мы одушевлены правотой нашего святого дела, мы оброняем свой родимый край против дерзких и неблагодарных вероломных союзников. Эти чувства удваивают нашу нравственную силу. Нужны осторожность, решимость, деятельность, отважность и в особенности отстранение всякой личности, имея в глазах постоянно одно благо, одно спасение чести русской. Мы должны победить или умереть с честью».

Словом, царь признает положение опасным; он предвидит, что, если неприятелю повезет «в сем горестном случае, ежели бы везде потерпели неудачи, армия наша в Польше имеет путь отступления на Бобруйск, князь Горчаков — на Кременчуг, генерал Лидерс(е?) — на Николаев. Здесь же нам должно лечь, но не отступать... Мы должны победить или умереть с честью» — повторяет он².

Однако возражения Паскевича явно произвели свое действие. Николаю оставалось жить всего две с половиной недели, когда он

составил новую записку о предстоящих военных действиях. Из этой записи мы видим, что, невзирая на дружелюбные отношения с Пруссией, царь считал центр своего государства настолько угрожаемым, что предпочитал, в случае войны с Австрией, скорее уж предоставить австрийцам богатые южные губернии, но ни в коем случае не ослаблять армейских частей, защищающих центр. Вот что мы читаем на первой же странице записи, составленной Николаем 1 февраля и пересланной Паскевичу и Михаилу Горчакову 2 февраля 1855 года: «Необходимость защитить на огромных расстояниях важнейшие точки государства принудила нас ограничиться не только выбором весьма немногих мест, но и уделить для сего ту только часть сил, которую располагать можем. Нет сомнения, что центр сухопутной нашей границы, прикрывая путь в сердце России, требовал особенного внимания; по сей причине в состав армии, в Царстве расположенной, назначены отборнейшие войска, grenадеры и за ними гвардия, дабы качеством войск возместить несколько недостаток численности. Таким образом, обязанность прикрывать центр государства лежит на 8 пехотных и 4 кавалерийских дивизиях, кроме соответствующего числа казаков. Армия сия расположена на правом берегу Вислы, на которой мы имеем 3 крепости; на левом фланге находится еще одна, а в тылу другая, Брест, через которую пролегает главный путь во внутрь северной части государства, Балта и дефиле Припяти отделяют от южной части, совершенно открытой до Днепра, вторжение неприятеля, угрожающего нам из Галиции. Оборона южной части империи, ближе к Черному морю, возложит на обязанности Южной армии. Пространство между расположением ее по обоим берегам Днестра, до мест, занимаемых Центральною армией, весьма велико и, как выше сказано, ничем не прикрыто. По всем вероятиям, в случае войны с Австриею первый предмет неприятеля будет вторгнуться в сей промежуток, дабы пресечь всякое сообщение между нашими двумя армиями и воспользоваться всеми огромными способами богатого края, который мы оставим ему без сопротивления».

Правда, Николай высказывает тут же предположение, что Пруссия займет «оборонительное положение», если французская армия попытается войти в германские земли и оттуда пройти в Польшу. Но если Пруссия и сделает это, то лишь потому, что не захочет допустить польского восстания в Познани. Царь совсем не верит, чтобы Пруссия в самом деле хотела помочь России:

«Одно опасение подобного (восстания в Познани. — Е. Т.) заставит Пруссию, может быть и нехотя, всеми силами противиться появлению французов у границ ее владений; таким образом, она будет действовать почти заодно с нами, хотя и не сознательно».

Кончается последняя записка Николая М. Д. Горчакову так: «Сегодня вечером по телеграфу узнали, что Джон Россель послан вторым полномочным в Вену и едет через Париж и Берлин и будто Решид-паша тоже туда назначается. Итак, кажется, будут переговоры, но толку не ожидаю, разве турки со скуки от своих теперешних покровителей не обратятся к нам, убедясь, что их мнимые враги им более добра хотят, чем друзья.

После многих споров мы с князем Варшавским покончили, наконец, и вот копия с моей последней записи ему. Он хотел, чтобы я согласился: ему оставаться у Новогеоргиевска с 2-мя корпусами, гвардию хотел поставить в Вильне, а Ридигера с двумя дивизиями отослать в Бобруйск.

Немудрено было доказать ему всю несообразность подобного расположения войск. Теперь эта мысль миновала. Ежели дела склонятся к разрыву, я намерен отправиться сам к армии, вероятно в Брест; думаю, что присутствие мое может там быть не бесполезно.

Новых начертаний тебе мне нечего делать. Главное условлено, ход дел укажет, что изменить нужно будет.

Надеюсь, что к маю у нас за Киевом будут готовы новые 24 батальона 4-го корпуса. Позднее, то есть к концу июля, готовы быть могут еще 24 батальона 5-го корпуса. Увидим позднее, куда нужнее их приединить будет. Наконец, подвижное ополчение к концу мая может получить уже свое первоначальное образование и приединиться по прилагаемому расписанию. Вот все, чем мы располагать можем. Прощай, душевно обнимаю. Навсегда твой искренне доброжелательный — Н.».

Он думал о худшем, но с тревогой и надеждой ждал ежечасно известий о Евпатории.

4

Вечером 4 февраля 1855 года в Зимнем дворце впервые появился слух о том, что у государя легкий грипп и что врачи настаивают на необходимости отказаться от выездов из дома. Затем грипп стал проходить, но 7 и 8 февраля снова врачи советовали царю сидеть дома. 9 февраля, хотя болезнь не проходила, Николай велел закла-

дывать экипаж и заявил, что едет смотреть маршевые батальоны. Доктор Карелль сказал ему: «Ваше величество, в вашей армии нет ни одного медика, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе в 23 градуса». Николай, «не обращая внимания на уговоры наследника и просьбы прислуго одеться потеплее», велел подать себе, к общему изумлению, легкий плащ — и в открытых санях поехал в манеж, где было так же холодно, как па улице, долго там пробыл и оттуда отправился не домой, но заехал неожиданно еще в два места. Приехал он совсем больной и ночь провел без сна. Высокая температура держалась всю ночь, а утром 10 февраля он вдруг заявил, что намерен опять ехать смотреть маршевые батальоны. Снова уговоры испуганной семьи и докторов не помогли, и он выехал опять в открытых санях. Мороз и леденящий ветер усилились со вчерашнего дня, и вернулся Николай в очень тяжелом физическом состоянии. Он не держался на ногах и слег немедленно. Дальше официальная версия говорит о все прогрессировавшем усилении болезни, а ряд других показаний неофициально свидетельствует, что, несмотря на все эти непонятные выезды в летнем плаще и прогулки человека с высокой температурой по 23-градусному морозу, железный организм никогда не болевшего Николая восторжествовал над болезнью и в ходе болезни стало намечаться улучшение. Эти разноречивые показания тоже немало способствовали возникновению слухов, о которых у нас сейчас будет речь и которые поползли по дворцу, по городу, по России, по Европе тотчас после развязки. А почва для таких слухов оказалась вполне подготовленной, поэтому и обнаружилась склонность им верить, несмотря на видимое отсутствие серьезных фактических доказательств.

Что с государем в последнее время творится неладное, было ясно решительно всем, кто имел доступ ко двору. Уже после снятия осады с Силистрии в нем стала постепенно совершаться перемена, которая акцентировалась все явственнее в течение неспокойного петербургского лета 1854 года, когда Чарльз Непир крейсировал в Финском заливе. Все менее и менее владел он собой. Известие об Альме повергло его сначала в ярость, и он набросился с гневом на ни в чем не повинного посланца Меншикова, ротмистра Грейга, привезшего весть о поражении. Больше этого не повторялось, подобных гневных выходок печальные вести с юга не возбуждали, но общая подавленность становилась все тяжелее. Царь жил от

курьера до курьера и ничем не мог и не хотел отвлечься от одолевавших его тревог. Ф. И. Тютчев назвал его впоследствии «лицедеем», актером. И в самом деле, Николай умел всегда маскировать свои истинные чувства и настроения, когда находил нужным это делать. Но тут, между Альмой и Инкерманом, а особенно между Инкерманом и Евпаторией, он, по-видимому, постепенно утрачивал веру даже в тех немногих людей, которым до той поры доверял. Все расползлось, все оказывалось гнилью, и все окружающие представлялись предателями. «Что ты, продать меня, что ли, хочешь?» — кричал он вне себя, примчавшись в Михайловский замок, когда узнал стороной, что комендант фон Фельдман, лично царем назначенный на этот пост, допустил каких-то, никому не известных двух людей к подробному осмотру секретной модели Севастополя. Это случилось совсем уж незадолго до конца.

«Гатчинский дворец мрачен и безмолвен. У всех вид удрученный, еле-еле смеют друг с другом разговаривать. Вид государя пронизывает сердце. За последнее время он с каждым днем делается все более и более удручен, лицо озабочено, взгляд тусклый. Его красивая и величественная фигура сгорбилась, как бы под бременем забот, тяготеющих над ним. Это дуб, сраженный вихрем, дуб, который никогда не умел гнуться и сумеет только погибнуть среди бури». Так писала в своем интимном дневнике жившая с царской семьей фрейлина Тютчева 24 ноября (6 декабря) 1854 года.

Жестоко уязвленная непомерная гордость явственно убивала этого человека и в то же время не позволяла ему признать, что именно она-то его и убивает. Среди зимы он переехал из Гатчины в Петербург и здесь продолжал возбуждать в ближайшей четверти такую же боязливое любопытство, какое возбуждал в Гатчинском дворце. Ночью часами прислуha слышала тяжелую поступь царя, неустанно шагавшего взад и вперед по той узкой, всегда почему-то очень холодной комнате в нижнем этаже Зимнего дворца, где он велел поставить свою кровать.

Знавшие его натуру и русские и иностранцы впоследствии нередко говорили, что они никак не могли представить себе Николая, садящегося в качестве побежденного за дипломатический зеленый стол для переговоров с победителями. А после Инкермана надежда на возможность избежать поражения очень потускнела. Лишнее было искать успокоения в беседе с Паскевичем, потому что царь знал, как мрачно смотрит фельдмаршал на русские перспективы. А кроме Паскевича, Николай теперь никому не верил. Конечно, он

не сомневался, например, в «лояльности» Александры Федоровны или наследника: он слишком хорошо знал, что на самостоятельное суждение при нем никто не отважится. Жена наследника Мария Александровна, как и ее муж, считала губительной, непоправимой ошибкой занятие Дунайских княжеств и так именно и высказалась, но этот приступ откровенности впервые постиг ее не в 1853 и не в 1854, а в 1856 году, когда Николай уже лежал в могиле и сама она была уже не великой княгиней, а императрицей и говорила с глазу на глаз со своей доверенной фрейлиной Анной Федоровной Тютчевой.

Слабая надежда на начавшиеся в декабре венские совещания исчезала с каждым новым донесением Александра Горчакова из Вены.

Николай, как и сам Горчаков, ясно видел, что враги хотят сорвать переговоры и что отделаться от войны без крайних унижений они ему не дадут, потому что слишком уже много потратили на эту войну материальных средств и людей, и слишком уверены в торжестве. Враги ведь тоже не предвидели, как долго им еще придется ждать этого торжества и сколько жертв оно еще потребует от них и каким, в сущности, сомнительным оно окажется по своим реальным результатам. Посол Наполеона III Буркнэ, больше всех работавший в Вене, чтобы сорвать переговоры, получил с конца января полную уверенность в самой деятельности помощи со стороны своего английского коллеги лорда Уэстморлэнда. Происшедшая в Англии перемена (скорее перетасовка в недрах кабинета), уход Эбердина и назначение премьером Пальмерстона — все это были события, слишком многозначительные. Если Николай и мог еще в декабре иметь слабую надежду на заключение мира, на «розыгрыш вничью», то в феврале 1855 года подобные ожидания оказывались совсем фантастическими: перед Николаем стояла стена.

Этот февраль и принес неожиданную развязку. В задачу автора предлагаемой работы не входит, конечно, подробный анализ скучных, не очень ясных, не очень достоверных, сбивчивых показаний об истории болезни царя, начавшейся 9-го и развившейся 12 февраля, и события последней ночи с 17 на 18 февраля, с того момента, когда доктор Мандт сменил в три часа ночи на дежурстве доктора Карелля у постели больного.

Нас тут может интересовать не вопрос об объективной правдивости официальной версии, но исключительно констатирование

факта, широкое распространение в России и в Европе сомнений в правдивости этой версии, потому что эти слухи, хотя бы и совсем неосновательные, были одним из моральных факторов, оказавших в тот момент известное влияние.

5

Так как мы заняты вовсе не биографией Николая I, то рассмотрение по существу вопроса об обстоятельствах его кончины оставляем совершенно в стороне. Нам тут важно лишь отметить, что слухи о самоубийстве, даже если они были совсем неверны, не только были широко распространены в России и Европе (и оказывали свое воздействие на умы), но что верили этим слухам иной раз люди, отнюдь не грешившие легковерием и легко-мыслием, — вроде, например, публициста Н. В. Шелгунова или историка Н. К. Шильдера. Уже после революции была напечатана многозначительная помета Шильдера на полях книги, в которой в обычных тонах передавалась официальная версия «об истинно христианской, праведной» кончине императора Николая. Шильдер лаконично написал свой отзыв: «отравился». При жизни Шильдер успел опубликовать лишь два больших тома предпринятой им научной четырехтомной биографии Николая. Но им были собраны уже обширнейшие материалы и для последующих двух томов. Кроме того, по своему положению, генерал Н. К. Шильдер, сын героя Силистрии, убитого под этой крепостью в 1854 году генерал-лейтенанта Карла Шильдера, человек, всю жизнь вращавшийся в высших военных и придворных сферах, был в состоянии собрать также и огромную неизданную, даже устную информацию. Если он, очень осторожный, объективный и скрупулезно добросовестный, весьма критически настроенный исследователь, пришел к такому категорическому умозаключению и полностью отверг казенную версию, то уже это одно показывает, что дело с этим официальным изложением обстояло очень неладно. Ошибся Шильдер в своем решительном выводе или не ошибся, — ясно одно, что официальная версия очень способна была возбудить к себе недоверие и оказалась недостаточно убедительной, чтобы рассеять слухи, сразу же возникшие у царского гроба.

Даже отвергая гипотезу самоубийства как недоказанную и недоказуемую, историк, знающий, что эти слухи сыграли свою историческую роль ранней весной 1855 года, обязан указать на некоторые свидетельства, хотя и вовсе не устанавливающие их

основательность и правильность, но, во всяком случае, объясняющие их возникновение и довольно упорную живучесть.

Широчайшему распространению слухов об отравлении Николая способствовало и совсем уже случайное обстоятельство: вследствие неудачного бальзамирования лицо умершего необычайно изменилось и раздулось, так что его прикрыли плотной материей в первые же часы после смерти.

Слухи находили себе почву и среди почитателей и среди врачей Николая.

Почва для слухов была подготовлена несколькими обстоятельствами. В Европе, с одной стороны, считали, что падение Севастополя не за горами, несмотря даже на зимнюю задержку, а с другой стороны, чем ближе лично знали и наблюдали Николая иностранные дипломаты, тем меньше, как уже сказано, они представляли себе русского императора в позе и в роли побежденного. Гипотеза самоубийства этим самым логически подсказывалась. Другим обстоятельством была необычайная краткость предсмертной болезни: Николай заболел 12 февраля, а уже утром 18 февраля его не стало. Третьим обстоятельством, породившим указанные слухи, было всеобщее изумление, что несокрушимое, железное здоровье царя, никогда ему не изменявшее, так катастрофически быстро поддалось простуде. Это изумление еще значительно усилилось, когда из показаний некоторых свидетелей выяснилось, что первоначальная болезнь, возникшая 4 февраля и усилившаяся 11-го, совсем почти прошла уже к 16 февраля и что никаких бюллетеней о царской болезни не выпускали именно потому, что считали больного вне всякой опасности.

14 февраля вечером прибыл, наконец, долгожданный курьер из Севастополя и тотчас был допущен к царю. Князь Меншиков доносил о неудаче Хрулева под Евпаторией... Впечатление, произведенное на царя этим известием, было по всем показаниям самым подавляющим. Ведь он-то и был инициатором этой атаки. Курьер прибыл 14-го вечером в понедельник, а 17-го в четверг вдруг во дворце заговорили, что болезнь вступила внезапно в острый фазис. Это было тем более неожиданно, что еще 15-го царь долго занимался делами и приказал наследнику написать Меншикову о смене его, а Михаилу Горчакову о назначении главнокомандующим. Путаницу усилил сам доктор Мандт. Он говорил (17-го же числа) в успокоительном тоне, что «совершенно не считает положение больного безнадежным», а затем, в начале четвертого часа ночи,

выслушав больного, сообщил будто бы ему о близкой и совсем неотвратимой смерти, которая непременно наступит через несколько часов. Утром 18 февраля 1855 года наступила агония — и весь дворец знал, что агония была долгой и очень мучительной и что свидетельство об этом великой княгини Елены Павловны совершенно непререкаемо. Она все эти последние часы пробыла у постели умирающего, а ее правдивость и общая ее высокая моральная репутация ставили ее показание вне всяких сомнений. А между тем официальная версия явно лжет, представляя дело так, будто кончина была совсем спокойной и безболезненной (как более подобает при воспалении легких). Масса всякой публики окружила Зимний дворец: ведь до последней минуты никаких известий о болезни не было, и понять не могли, чем вызвано это молчание, если в самом деле царь болел уже с 4 февраля.

Но вот в половине первого часа дня над дворцом внезапно взвилось черное знамя. «Густая масса народа толпилась на Дворцовой набережной. Имя доктора Мандта стало ненавистным; сам он боялся показаться на улицу, так как прошел слух, что народ собирается убить этого злополучного немца. Кучер покойного государя, выйдя к толпе, едва смог ей выяснить, от какой болезни скончался царь. Несмотря на это, рассказывали, что доктор приготовлял для больного лекарства своими руками, а не в дворцовой аптеке, принося их с собой в кармане; болтали, что будто он давал больному порошки собственного изобретения, от которых и умер государь. Было наряжено следствие по этому поводу, которое ничего не доказало. Мандта, однако, поспешили в наемной карете вывезти из дворца, где он жил; говорят, в тот же день он выехал за границу». Это последнее сведение не верно. Мандт еще некоторое (очень короткое) время прожил в столице, а потом навсегда покинул Россию. Зная, как широко и быстро расползлись слухи о самоубийстве, об искусственно вызванной простуде, о приеме яда, когда простуда стала проходить, и т. д., фрейлина баронесса Фредерикс, великая княгиня Мария Николаевна и другие лица, близкие ко двору, стали яростно обвинять Мандта не более и не менее как в убийстве царя,— а другие, в противовес этим обвинениям, стали усиленно поддерживать версию о самоубийстве.

Слухи держались тем упорнее, что им верила не только широкая народная масса, но они находили доступ (и очень легкий) в среду высокообразованных людей. Известный демократический публицист Н. В. Шелгунов говорит об этих слухах в таких вы-

ражениях: «Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг “новых людей”; точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать. Причина смерти Николая не осталась тайной. Рассказывают, что, позвав своего лейб-медика Мандта, Николай велел ему прописать порошок. Мандт исполнил, Николай принял. Но когда порошок начал действовать, Николай попросил противоядие. Мандт молча поклонился и развел отрицательно руками. Рассказывают еще, что Николай покрылся своей походной шинелью и велел позвать своего внука, будущего цесаревича (умер в 1865 г.), и сказал ему: “Учись умирать”. Если это не анекдот, то он нисколько не противоречит общему характеру Николая. Народная молва заговорила об отравлении сейчас же после смерти Николая, и, конечно, Мандт поступил благоразумно, удрав за границу».

Шелгунов дает нам и другой вариант слухов о самоубийстве, причем формой добровольной смерти является не яд, а искусственно вызванная простуда.

«Император Николай скончался совершенно неожиданно даже для Петербурга, ничего не слышавшего раньше об его болезни. Понятно, что внезапная смерть государя вызвала толки. Между прочим, рассказывали, что умирающий император велел позвать к себе внука, будущего цесаревича. Император лежал в своем кабинете, на походной кровати, под солдатской шинелью. Когда цесаревич вошел, государь будто бы сказал ему: “Учись умирать”, и это были его последние слова. Но были и другие известия. Рассказывали, что император Николай, потрясенный неудачами Крымской войны, чувствовал недомогание и затем сильно простудился. Несмотря на болезнь, он назначил смотр войскам. В день парада ударили внезапный мороз, но больной государь отложить парад не нашел удобным. Когда подвели верхового коня, лейб-медик Мандт схватил его за удила и, желая предупредить императора об опасности, будто бы сказал: “Государь, что вы делаете? Это хуже, чем смерть: это — самоубийство”, но император Николай, ничего не ответив, сел на коня и дал ему шпоры».

В верхах медицинского мира столицы слухи о самоубийстве держались упорно. Их отголосок находим в воспоминаниях доктора А. В. Пеликаны, внука директора Медицинского департамента и начальника Медико-хирургической академии, очень известного в свое время В. В. Пеликаны: «В день смерти императора Николая

дед заехал по обыкновению к нам, был крайне взволнован и говорил, что император очень плох, что его кончины ждут с часу на час. Вскоре после отъезда деда явился из департамента неожиданно отец и объявил, что императора не стало. Отец был сильно взволнован, глаза его были сильно заплаканы, хотя симпатий к грозному царю, он, по складу своего ума и характера, чувствовать не мог. Почти одновременно с приходом отца площадь стала наполняться экипажами съезжавшихся во дворец вельмож и всяkim народом, по преимуществу простолюдинами. Вскоре из дворца кто-то вышел и обратился к толпе с речью, смысл которой, по всем вероятиям, был такой: "Император умер, да здравствует император". Раздался какой-то стон толпы, который достиг моих ушей, несмотря на двойные зимние рамы. Что означал этот стон, я тогда оценить, само собою разумеется, еще не мог, а потому и принял за то, за что он выдавался официальной Россией, т. е. за стон безысходного народного горя и отчаяния...

Вскоре после смерти Николая Мандт исчез с петербургского горизонта. Впоследствии я не раз слышал его историю. По словам деда, Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покопчить с собою Николаю яду. Обстоятельства эти хорошо были известны деду благодаря близости к Мандту, а также и благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кое-какие служебные неприятности. Незадолго до кончины Николая I профессором анатомии в академию был приглашен из Вены прозектор знаменитого тамошнего профессора Гиртля, тоже знаменитый уже анатом Венцель Грубер. По указанию деда, который в момент смерти Николая Павловича соединял в своем лице должности директора военно-медицинского департамента и президента медико-хирургической академии, Груберу поручено было бальзамирование тела усопшего императора. Несмотря на свою большую ученость, Грубер в житейском отношении был человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя протокол этот интересным в судебно-медицинском отношении, отпечатал его в Германии. За это он посажен был в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствие всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальнику злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации. К Мандту дед до конца своей жизни относился

доброжелательно и всегда ставил себе в добродетель, что оставался верен ему в дружбе даже тогда, когда петербургское общество, следуя примеру двора, закрыло перед Мандтом двери. Дед один продолжал посещать и принимать Мандта. Вопрос этический... не раз во времена студенчества затрагивался нами в присутствии деда. Многие из нас порицали Мандта за уступку требованиям императора. Находили, что Мандт, как врач, обязан был скорее пожертвовать своим положением, даже своей жизнью, чем исполнить волю монарха и принести ему яду. Дед находил такие суждения слишком прямолинейными. По его словам, отказать Николаю в его требованиях никто бы не осмелился. Да такой отказ привел бы еще к большему скандалу. Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта, он нашел бы иной способ покончить с собой и, возможно, более заметный. Николаю не оставалось ничего другого, как выбирать между жребием или подписать унизительный мир (другого ему союзники не дали бы), признать свои вины перед народом и человечеством, или же покончить самоубийством. Безгранично гордый и самолюбивый, Николай не мог колебаться и сохранить жизнь ценой позора». Слухи, таким образом, шли из дворца, шли из медицинского мира, распространялись среди литературного мира, бродили в народной массе.

Явная лживость официального сообщения о том, будто уже с самого начала болезни, с 4 февраля, и во всяком случае с 11 февраля она не переставала прогрессировать, доказывается целым рядом показаний. Так, например, в воспоминаниях очень близкой ко двору фрейлины баронессы Фредерикс читаем: «В среду 16 февраля я обедала с ее величеством... Государыня была еще довольно спокойна ввиду уверений доктора Мандта, что *опасности никакой нет в состоянии его величества*» (подчеркнуто в подлиннике). Мало того: «В четверг вечером, 17 февраля, было назначено еще маленько собрание у ее величества, как всякий вечер». А когда это собрание было отменено (вечером 17-го) и баронесса Фредерикс и две другие фрейлины уже после 9 часов вечера «в ужасе бросились к Мандту», то этот лейб-медик сказал им: «Успокойтесь, опасности нет». Баронесса пишет по поводу этого факта: «Отчего Мандт нас обманывал в эту минуту, один бог ведает. Мы, в ужасном состоянии, видим и чувствуем, что этот страшный человек нам нагло говорит неправду... Все объяты каким-то непреодолимым ужасом... никто не решается выговорить страшных слов». Утром

18 февраля баронесса была в комнате умирающего, и тут, точь-в-точь как великая княгиня Елена Павловна, она решительно опровергает официальное сообщение о спокойной, безболезненной кончине: «Страдальцу императору делается все хуже; агония страшная.

Это, конечно, вовсе не доказывает еще наличности отравления, но в соединении с другими свидетельствами показание М. П. Фредерикс говорит о том, что официальная версия резко расходится с истиной в ряде существенных пунктов. Это-то явное сознательное уклонение от правды и способствовало в немалой степени распространению в России и Европе слухов о самоубийстве.

Граф Адлерберг немедленно после кончины царя вызвал старенького чиновника императорского двора и литератора еще времен Александра I, В. И. Панаева. Панаеву велено было написать статью о последних минутах царя. Он ее написал, причем в основу было положено «потребованное от доктора Мандта, который сидел в своей квартире в Зимнем дворце, не смея показаться па улице, подробное описание хода самой болезни государя». Так говорит сам В. И. Панаев. Это «описание» Мандта тотчас поступило к Панаеву, который призвал на помощь доктора Енохина. «Мы проработали с ним часа три, не вставая с мест, и успели в том, так что статья Мандта появилась вслед за моей статьей». Вышло именно то, что экстренно потребовалось. Министр юстиции Виктор Панин горячо поблагодарил Панаева за его творчество: «Умы начали волноваться,— вы их успокоили». Над двумя страницами Мандта Панаев «проработал»... три часа. Но «умы» все же успокоились не сразу. По показаниям не только секретаря комиссии по похоронам Николая, В. И. Писарского, но и других свидетелей, толпа волновалась и грозила Мандту расправой.

Для врагов николаевского режима это предполагаемое самоубийство было как бы символом полного провала всей системы беспощадного гнета, олицетворением которой являлся царь, и им хотелось верить, что вочные часы с 17 на 18 февраля, оставшись наедине с Мандтом, виновник, создавший эту систему и приведший Россию к военной катастрофе, осознал свои исторические преступления и произнес над собой и своим режимом смертный приговор. Широкие массы в слухах о самоубийстве черпали доказательства близящегося развала строя, еще так недавно казавшегося несокрушимым.

«Обыватель, даже обыватель петербургский, в течение всего 1854 года все еще продолжал в значительном большинстве верить в прочность и конечное торжество существовавшего режима. Еще допевалась лебединая песнь полной грудью и с полной верой, а протест был еще едва внятен, как невнятное “ау” в лесу дремучем. Песня смолкла, и “ау” протesta раздалось громко и внятно лишь 18 февраля 1855 года, когда над Зимним дворцом взвился черный флаг и разнеслось по городу: “государь скончался”».

Таково показание дочери архитектора Штакеншнейдера, Елены Андреевны, беспристрастной и умной наблюдательницы. За границей слухи о самоубийстве крепли, несмотря на все меры, принятые с целью сообщить и популяризовать официальную версию о мирной, спокойной, христианской кончине. Тут следует заметить, что одна из брошюр, изданных по желанию русского двора за границей с целью борьбы против слухов о самоубийстве, не рассеяла, но, напротив, способствовала дальнейшему их распространению. Это была брошюра Поггенполя, изданная в Брюсселе в марте 1855 года. Поггенполь в этой брошюре допустил фразу, явно намекающую на добровольный уход Николая из жизни и как бы укоряющую врагов, которые его до этого довели. Эта мысль на все лады повторялась тогда и в России, и в Европе... «Все были поражены этой вестью, зная крепкое телосложение императора. Встречая еще недавно его, мужественного, молодца в полном смысле этого слова, никто не верил, чтобы он мог умереть так рано... Он бы и прожил еще много лет, да Пальмерston и Наполеон III его сгубили», — читаем у М. М. Попова в его интереснейших заметках о Николае, писанных под свежим впечатлением событий. Конечно, даже, может быть, и не веря слухам о самоубийстве, дипломаты и в Париже, и в Лондоне спешили использовать этот слух как доказательство признания покойным царем непоправимого и окончательного проигрыша войны.

В особенности этот новый прилив бодрости и уверенности в близкой победе противников России должен был сказаться на происходивших в момент смерти царя венских конференциях. Положение Александра Михайловича Горчакова сделалось еще труднее, чем было.

Правда, консервативная аристократия Австрии оплакивала Николая и выражала опасения и сожаления по поводу исчезновения такого «оплота против революции», каким был царь, но из Парижа поспешили пролить бальзам утешения.

Министр иностранных дел Французской империи Друэн де Люис заявил Францу-Иосифу тотчас почти после смерти Николая, что основной задачей всех европейских правительств должно быть теперь достижение двойного результата: наложить узду на мировую революцию, не прибегая для этого к помощи России, и наложить узду на честолюбие России, не прибегая для этого к помощи революции. В тесном союзе Наполеона III с Францем-Иосифом Друэн де Люис и усматривал единственный шанс к достижению этой двойной цели. Следует заметить, что с этой точки зрения Франц-Иосиф и австрийская консервативная реакция в самом деле могли в тот момент не беспокоиться: все внешнеполитические успехи Наполеона III в Крымскую войну шли пока на пользу самой черной всеевропейской реакции. Не только в самой Французской империи все усиливался полицейский режим, но и Пий IX в Риме, и реакционные бунтовщики-карлисты в Испании как раз в это время пользовались полнейшей поддержкой французского императора. Только жестокие потери союзников в Крыму и бесконечно затянувшаяся осада Севастополя несколько ослабляли временами этот гнет клерикально-полицейских сил в Европе, делавших в те времена главную свою ставку на Наполеона III. Волей исторических судеб император французов в этом смысле с 1854–1855 годов до известной степени занял место умершего русского царя. Так писали и говорили некоторые представители тогдашней революционной общественности в Европе.

